

ЧТО ВИДНО В ЧАС ЗАТМЕНИЯ

— Господин Поссе, мне помнится, как латиноамериканская проза внезапно стала нарксват. Маркес, Кортасар, Борхес... С ними открылись какие-то неведомые миры и картины. Все заговорили о латиноамериканском «буме». А теперь? Критики пишут уже о «постбуме» и вас называют одним из его вестников. Как вы к этому относитесь?

— Может быть, критикам виднее, но я не противопоставлял бы «бум» и «постбум». Особых различий не видно. Продолжение, преемственность — да. Такие первоклассные мастера, как Гарсиа Маркес или Октавио Пас, принадлежат своим творчеством и «буму», и «постбуму». Правда, ушел из жизни Мигель Астуриас, не стало — почти одновременно, в середине восьмидесятых годов, — Хулио Кортасара и Хорхе Борхеса. Потери неотвратимы, но неудержимо и пополнение. Главное, не скудеют истоки латиноамериканской художественности — поэтика, фантазия, особая объемность видения — прошлого в настоящем и настоящего в прошлом, абсурдного в естественном и естественного в абсурдном.

Если говорить о внезапности всплесков, то литературу этим не удивишь. Что-то исподволь назревает, копится — и вдруг мощный взрыв художественной энергии. Разве не так в прошлом веке — тоже, в сущности, за считанные десятилетия — возник феномен русской прозы и поэзии? А в середине нашего века пришел час латиноамериканской литературы. Отчего, как это случилось — загадка. Может быть, сказала «переходность», которую, несомненно, переживает наш континент. Или отразились события на Кубе, взлеты и кризисы революционных движений. Помню, сколько об этом рассуждали в 60-х годах в Париже, когда я познакомился с Пабло Нерудой, Кортасаром, Сартром. Бурлил молодежный радикализм, а Сартра к тому же переполняли свежие впечатления от поездки на Кубу...

Но вот что примечательно. Наша литература в своей эстетике и стилистике не пошла по чужим стопам. Допустим, на поводу о современных европейских течений или социалистического реализма, который так рекомендовался советской теорией. Я бы сказал, что латиноамериканская литература движется в русле традиций Сервантеса, прислушивается больше к ним, чем к другим голосам. Любопытно, что в литературе самой Испании этого нет, там сильнее влияние европейских концепций, школы французского романа. А наша художественность берет разбег отсюда — из времен Возрождения, с каменистого пласта Ла-Манчи, где махали крыльями вероломные мельницы и путешествовали Рыцарь Печального Образа с его славным оруженосцем. И полет воображения, и магия слова, и эстетическое искривление времени — это все от Сервантеса.

— Вы не слишком высокого мнения о традициях европейской литературы?

— Почему же? Русская литература, например, тоже возникла на европейском пространстве, но с французской или какой-либо другой ее не спутаешь. Она создала собственный, неповторимый художественный мир. Начиная с Пушкина ее отличает удивительная поэтичность, богатство и глубина чувств. Блок, Есенин, Маяковский, Цветаева — ни один язык, по-

жалуй, не дал столько выдающихся поэтов, а поэзия, мне думается, — душа литературы. В русской классике я вижу много родственного нам по духу, особенно в гоголевском, булгаковском течении.

Сегодня европейская литература переживает худшие времена. И самый бедственный признак — угасает поэтика. Индустриальное общество продуцирует преимущественно субкультуру, а не культуру. Латинский мир, зародившийся в Средиземноморье, прошедший Испанией и теперь воплощенный Латинской Америкой, сопротивляется духовному упадку. Мне думается, сил у него немало, хотя и нас точит раздвоение чувств. Мы от души хотели бы для своих стран и технических, и экономических успехов, но только не ценой деградации культуры. Это волнует нас смолodu, с тех лет, когда мы, начинающие литераторы, варились в редакциях газет горячего Буэнос-Айреса, спорили за чашечкой кофе, рылись в книжных развалах дешевых лавчонок, где, кстати, добывались и первые русские книжки, путешествующие со мною повсюду.

— В буквальном смысле?

— В самом буквальном. Можете увидеть их и здесь, в Праге. Они даже и в России побывали, я ведь работал в 60-х годах в Москве, там у меня родился сын, да и я, собственно говоря, как писатель тоже родом оттуда. Со мной с детства, где-то по ящикам полно рукописей, которые сам и браковал. А роман «Морской рак», написанный в Москве, впервые решился напечатать. Его заметили, затевался перевод, но не сложилось, может быть, кому-то пришелся не по вкусу.

— В Москву вас забросила дипломатическая служба. Как потом в Перу, Израиль, а теперь в Чехо-Словакию. Это почему видно по книгам. Не знаю, как отзывается Прага, но Париж — это роман «Морской рак». Тель-Авив — целых два: «Тайные демоны» и «Путешественник в Агарту». После Москвы тоже ведь была книжка о России, «Пасть тигра», страшноватое название...

— Что после Праги, пока сам не знаю; Чехо-Словакия, наверное, самая непонятная из всех стран, где мне приходилось бывать. Я совсем не уверен, будто понимаю и ощущаю ее, допустим, так, как чувствовал Россию. Попавшим в Россию латиноамериканцам, о которых я писал, «пастью» представлялась Система Руководства и Триумфа, так это называется в романе. И совсем другое дело — впечатление от страны, самого народа, безотносительно к политическим приверженностям, «сталинским» или «горбачевским». Я проехал шесть тысяч километров, бывать в деревнях, глядя дивался, пытаюсь понять, что же такое народная жизнь, русский характер. И приходил к выводу — наверное, он вас удивит, — что вижу много общего с испанским. Материковую силу земли, глубину традиций, идущее от людей тепло гуманизма. Со всем не случайно у попавших в Россию латиноамериканцев она вызвала глубокую симпатию, будоражила воображение и обращала к раздумьям.

— Однако ни после первого романа, написанного в России, ни после книги, написанной о самой России, встречи с нашим читателем не получилось. Только теперь — роман «Райские псы» в «Иностранной литературе». Я знаю, он

аргентинскому писателю Абелю Поссе

Абель Поссе — один из наиболее популярных сегодня писателей Латинской Америки. Родился в 1936 году в аргентинской «глубинке», учился в Буэнос-Айресе и Париже, по образованию юрист, по профессии дипломат, сейчас посол Аргентины в Чехо-Словакии. Его произведения переводились на пятнадцать языков, отмечены международными и национальными премиями в Аргентине, Венесуэле, Испании, Мексике. В сентябрьском номере «Иностранной литературы» опубликован его роман «Райские псы», который, по мнению критики, ярко передает дарование писателя и самобытность его творческого почерка.

С Абелем Поссе беседует собственный корреспондент «ЛГ» в Праге Виталий МОЕВ.

получил престижную международную премию, критики говорят о широкой панораме, тем более что «Райские псы» — часть трилогии?

— Я так и задумывал. Первая часть, «Даймон», — о высадке в Новом Свете конкистадоров, «Райские псы» — это плавание Колумба, а заключительный роман «Черные герольды» — затеянная иезуитами фантазмагория с постройкой в сельве нового Града Господня для обращения «дикарей» на путь истинный...

— Иначе говоря, сквозная тема — открытие Америки. Вас привлекало, что 1992 год — пятистолетний юбилей открытия Америки или что-то другое?

— Нет, конечно, ни к каким датам я не примерялся. Писать начинал еще двадцать лет назад, «Даймон» вышел в 1978 году, «Райские псы» — почти за десять лет до юбилея, а «Черные герольды» явно опоздают, они еще в работе, но я не тороплюсь. Дело в другом. Меня привлекло ощущение космичности в контакте двух цивилизаций, столкновении двух культурных стихий. Великий акт, может быть, второй такой после рождения Иисуса Христа.

Мимо истории не может пройти ни один из наших писателей. Это не мода, не бегство от злобы дня, а потребность глубже разобраться в самой судьбе Латинской Америки.

Первое право преподнести историю Нового Света взял на себя Старый Свет. Выстраивалась версия открывателей, победителей. Вот откуда у нас потребность представить и свою реконструкцию, взгляд «изнутри» в системе собственных координат и ценностей. Но это не все. Видите ли, классический жанр исторического романа, как ни парадоксально, мне совершенно не годился. Мне требовался подход метаисторический.

— То есть?

— Вы ведь не скажете, что Рождество Христа — это рождение одного мальчугана из Назарета или даже пусть знак начала нового летосчисления. Нет, это событие, принадлежащее всей истории, прошлой, настоящей и будущей. В таком вот космогоническом виде мне представляется и открытие Америки. Вообразите себе, встречаются незнакомые миры, разные по уровню и совершенно непохожие. Парусные каравеллы Колумба и немые памятники культуры инков и ацтеков. Звон испанских дукатов и золото, обращенное в загадочные произведения искусства. Иудейско-хри-

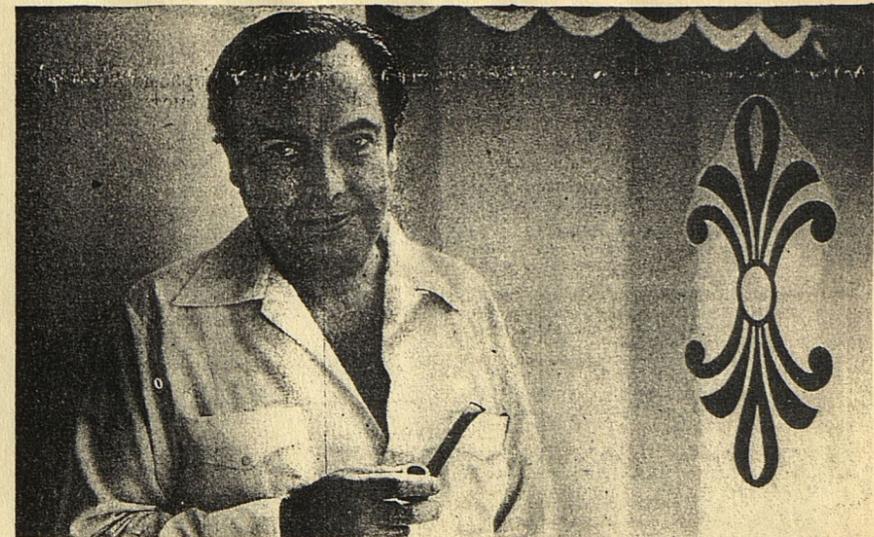
стианский мир и стихия совершенно иных отношений человека с миром — пышной девственной природы. Как описать первое безграничное изумление, а потом — насилие, кровь, геноцид во славу креста и золотого тельца? Наша культура стала продуктом шока. Не пощадило преследование рона и самих пришельцев.

Тут требовалась какая-то новая художественная система, раскопанная, с сюрреалистическими смещениями, без перегородок, заслоняющих объемность и внутреннюю правду вещей, какой она мне виделась. Это означало перерождение в моем творчестве. И, кажется, удалось найти образный строй, пегзающий центральную идею всей трилогии — мой антимонотеизм, конфронтация с монотеизмом, хронической вропейской болезнью, уповающей на одного Бога, одну правду, один способ жизни.

— Как говорят критики, эта творческая манера и сделала Абеля Поссе большим писателем. В последние годы ваши новые книги выходили одна за другой. Остановимся на двух романах — «Тайные демоны» и «Путешественник в Агарту». Оба об истоках нацизма, даже не знаешь, надежи ли они похоронены. Что стоит последний всплеск шовинистических бесчинств в Германии да и прочие коричневые тени, силуэты и призраки. Не это ли вас тревожило?

— И это тоже. Мне давно не давала покоя загадка природы фашизма. Как могло случиться, что он расцвел в центре Европы, в стране с такими культурными традициями, поджег если не всю, то девять десятых нации. Как, почему? По марксистской теории, под давлением монополий и ради передела рынков? Или люди нечаянно обезумели, зарывшись от кучки сушасшедших? Неудобительно.

Мне приходилось жить в Германии, многое узнавал там. Не забудь, что на одной стороне с рейхом была в войне Аргентина, потом в Южной Америке укрывалось немало нацистских беглецов, и не из самых мелких, таких я знал лично. Насмотрелись в этих странах и на собственных диктаторов. Потом служба приехала меня в Израиль. Я убедился: тем, кого обречали на истребление, до сих пор трудно взглядываться в лицо фашизма, словно заглядывать в печь крематория. А задумываться, размышлять над этим необходимо. У меня скапливались мало кому известные материалы, и таким образом рождались эти книги. Мои представления, как и из него выросла фашизм, боюсь, не



очень просты для понимания. Истоки его, пожалуй, теряются в тысячелетнем далёко, на заре крещения, обращения в единую веру всей Европы с ее античным и языческим прошлым. Впрочем, это мое глубоко личное мнение.

— А последний из написанных романов? Если не ошибаюсь, «Королева Платы»...

— Это совсем другое... Вроде легкой музыки. «Королева Платы» — метафора, близкая любому аргентинцу. Это имя, кличка, которая без конца несется по волнам аргентинского танго за нашим Буэнос-Айресом, пестрым, космополитическим и прекрасным. Это моя любовь к нему и моя футурология, сказка о будущем. Технические чудеса — повыше запускать самолеты или сбивать их лазерными лучами, — это меня не занимало. Занимали фантазии о будущем духовной жизни, человеческих мироощущений, отношений между людьми и природой. И еще о том, что хотелось бы увидеть в этом будущем из прошлого. Там, например, оказался Арбат и один славный дом — дом Толстого в Москве.

— Серьезно?

— Как все в фантастике. Арбат и дом Толстого, правда, своими именами не называются, но виделись мне они.

— А еще что? Это, кажется, не антиутопия в духе Оруэлла?

— И все же утопия, в чем-то и «анти». Немножко от «капитализма», немножко от «социализма». Люди не особо счастливей нынешних, только живут по-другому. Тигр, будучи на воле, может напасть на человека, но это еще не повод истреблять зверей. А вообще-то пересказывать фантазии — неблагоприятное дело.

— Желаете нам такого будущего?

— Желал бы. Чего там нет, так это отталкивающего меня монотеизма. Все культуры рядом — Черная Африка, Европа, Индия, что угодно. В обществе не преследуют человека, даже если он не укладывается в какие-то привычные рамки. А самый высокий авторитет, самое уважаемое положение — у поэтов, художников, музыкантов, мыслителей. Это ведь было, оглянитесь на Индию, на почтение к брахманам.

— А что вы думаете о миссии художника сегодня?

— Думаю, рассчитывать на добрую жизнь, доброе будущее без участия художника не приходится. Теперь — особенно. Идеалы гуманизма, которые вынашивались в течение двух тысячелетий, сегодня распыляются. Ги-

потезы о дальнейшем движении мира зашли в тупик, обратились в руины. Политика к этому потеряла интерес, не ищет здесь своего хлеба, на уме у политиков сплошной «прагматизм» — тоже нашли конечную мудрость вещей... И чего стоят левиафаны государственности, когда процветают торгаши наркотиками, мафии, заправляющие черным рынком. Мы живем в час затмения, не ведая, как обернется жизнь. Художник, писатель остается, на мой взгляд, последним, кто сопротивляется эрозии культуры, бьется над вечными вопросами: к чему разум и совесть, для чего живем, что есть Бог и судьба, жизнь и смерть, любовь и страдание? Индустриальные системы — как бы там они ни назывались, российским тоталитаризмом или американским технологизмом, — мало дали душе человека. Она угнетена, внешние силы пригибают ее к земле. И только художник еще верит в будущее и служит надежде. Мне кажется, что художники и самые счастливые люди; когда я пишу, живу в полную силу: Боже, ведь отнять у человека право творить — все равно что оставить его ни с чем.

— Последний вопрос, особенно после вашей шпильки в сторону политиков. Как же в одном лице уживаются политик и художник? Как уживаются писатель — златоуст, говоря высоким слогом, и дипломат, человек, которому — на банальном жаргоне — язык дается, чтобы скрывать свои мысли?

— Между прочим, в процветавшей средневековой Венеции, когда она была влиятельной республикой, перекрестком путей между Западом и Востоком, дипломатно поручали как раз писателям. Считалось, что лучше них никто не сможет вникнуть в жизнь чужих стран, понять обычаи и нравы народов. Про Латинскую Америку нельзя сказать, что она следует этой традиции буквально, но все же... Дипломат и писатель в одном лице у нас не редкость. Никарагуанец Рубен Дарио, гватемалец Мигель Астуриас, мексиканцы Фунтес и Октавио Пас.

Как уживаются?.. Дипломат обитает в представительной вилле, а жилище писателя — бревенчатый домик на задворках, за деревьями. Дипломат работает днем, писатель — утром и вечером. Когда дипломат занят, писателя приходится поскучать, а когда писатель садится за стол — дипломат остается за дверью. Утром немножко препираются, пора ли надевать галстук или можно еще помарать рукописи. Вечером писатель отправляет дипломата спать и уходит к себе в домик за деревьями. Так и живут... ПРАГА